**Богема**

Михаил Булгаков

I

КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС

Как перед истинным Богом, скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «грозный п р и з р а к»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю — грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучал присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически.

— Что ж это вы так приуныли? (это Гензулаев.) — Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить — значит, я подозрительный.) — За насмешки.

— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил: а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так, так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в семь с половиной дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем Мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем... вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921–1924 гг. и начинаю сомневаться...), ну, не первую, — вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственное, на что я надеюсь, — это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи: «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что: 1) в Тифлисе открыты все магазины; 2) — « — есть вино; 3) — « — очень жарко и дешевы фрукты; 4) — « — много газет и т.д... и т.д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом: — Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал куда следует заявление и в графе, в которой спрашивается: — А зачем едешь?

Написал с гордостью: — В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый, у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным: — Зачем едете?

— Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт, и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив: — В особый отдел.

— А зачем? — спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал: — Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет, — Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю, — ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.

1) В 1907 г., получив 2 р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф; 2) в 1913 г. женился, вопреки воле матери; 3) в 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я, — поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно, — задумчиво отозвался симпатичный, — Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот черный, как вакса, и ему лет 45. А я блондин, и мне 28.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

— Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

— Вы бухгалтер?

— Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

— Пьесы сочиняете?

— Да. Приходится.

— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал: — Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так: — Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой: — Проводи литератора наружу.

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но забудь!!!

IIВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».

— Возьмите меня с собой, — попросил я.

— Не возьму, — ответил бородатый.

— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, — сказал я.

— Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

— А какая пьеса? — спросила она.

— Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец теплушки.

— Еще Гензулаев.

— Не знаю такого.

— Мне необходимо уехать.

— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из Политпросвета.

— Я не буду выкомаривать, — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, — на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах: — У вас провизии нету?

— Денег немного есть.

Бородатый подумал.

— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

— Все что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

— Фельетон — моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, — басом сказали ноги, — я пущу товарища фельетониста.

— Ну, пусти, — растерянно сказал Федор с бородой. — А какой фельетон вы напишете?

— Вечные странники.

— Как будет начинаться? — спросили нары. — Да вы полезайте к нам чай пить.

— Очень хорошо — вечные странники, — отозвался Федор, снимая сапоги, — вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев.

Прощай, Владикавказ!

[Настоящий том сочинений Михаила Булгакова представлен произведениями, которые принято называть автобиографическими. Булгаков мечтал написать собственное жизнеописание, но замысел этот не был осуществлен. И видимо, в этом была какая-то своя логика, ибо художественное жизнеописание он творил в течении двадцати лет. Именно в автобиографических произведениях писатель наиболее ярко раскрыл свой талант художника-сатирика.]